

Эпизоды.

Когда я был совсем маленьким, между тремя и пятью месяцами, – у меня не было ни люльки, ни кроватки. Была у меня большая корзина размером 90х40 сантиметров и глубиной 35 сантиметров. Туда меня укладывали спать, а так как корзину эту некуда было ставить, кроме как на пол, а на полу холодно, то придумали папа с Фокой ставить ее на рояль. Папины занятия несколько не мешали мне спать, напротив, занимаясь как-то, в смысле играя какую-то сонату, папа заметил, что я очень в такт начинал махать руками, где быстро, где медленно. Папа позвал Фоку и Марселлу, начинал играть – и они были свидетелями моего дирижерства. Мне было от силы три-четыре месяца от роду. Я уже писал как-то про патефон, Фока ставила пластинки с каким-то оркестром, и как я четырех лет от роду вставал на стул и дирижировал эти оркестром. Так велика была моя тяга к музыке. Потом, уже пятилетним карапузом, меня стали возить в музыкальную школу при консерватории. Играл я четвертый этюд Шнитке. А в шесть лет все вдруг кончилось... Я потерял слух. Я так думаю, что не бывает в природе такого, чтобы отняв у достойного одно, Всевышний не даровал бы другое – равноценное.

Как-то Ситников познакомил меня с одним американцем из посольства США Аланом Дэвисом. Этот американец устраивал в своей большой квартире «парти», то есть фуршет. И просил этот американец, чтобы Ситников привез кого-нибудь из своих знакомых. Ситников остановил свой выбор на мне. Народу было много, и художников наших, и сотрудников разных посольств. В одной группе я заметил коллекционера Костаки, он беседовал с англичанином, как я сразу догадался – и не ошибся – по пышным бакенбардам. Я подошел поздороваться с Костаки, в ответ он представил меня своему собеседнику. Им оказался англичанин Джеральд Кларк, атташе по культуре. Мы сразу разговорились о живописи. Костаки похвалил мою картину «Новобранцы» и очень сожалел, то эта картина не досталась ему. Костаки потом отошел к другой группе, а я пригласил Кларка к нам на Клязьму. Мы договорились о дне, когда я встречу его автомобиль на Ярославском шоссе. Джеральду Кларку и его супруге Мери все у нас было интересно, а с Марселлой Мери сразу горячо разговорилась, куря одну сигарету за другой. Я показал Джеральду все, что я мог показать. За год у нас с Кларками установились очень дружеские отношения. Они приезжали к нам запросто, без церемоний. Мы даже устроили как-то шарады, отчего они были в диком восторге. Подходило как-то седьмое июня, день рождения королевы Елизаветы II, и мы получили приглашение на прием в посольство Великобритании. Посол – милейший мужчина средних лет, и его супруга – встречали гостей у парадного входа в особняк. Пройдя его мы попадали на лужайку. Ярко-зеленый газон был изумительно ухожен. По бокам лужайки были столы, уставленные снедью, какая мне и во сне не снилась. Тут же – «что бы Вы хотели выпить?», – я взял джин с тоником. Всюду знакомые лица: Вишневецкая, Дубинский с супругой, Табаков и многие другие. Дубинский подошел ко мне, и мы с ним разговорились. Он указал мне на Любовь Орлову. Это была пожилая дама. Мы подошли к группе, где стоял Табаков. Черт меня дернул, но, не сказав Эльзе ни слова, я полез в карман пиджака и вытащил несколько слайдов с моих картин. Обратившись к Табакову, я предложил ему и стоявшим рядом посмотреть мои картины. Он взял их в руки и сказал: «Давайте посмотрим на эти снимки, если это не расположение советских ракет», – он сказал это достаточно громко и многие услышали. С моей стороны это было глупое мальчишество – ко мне сразу подошел

какой-то англичанин и попросил следовать за ним. Мы подошли к группе англичан и меня увидел Кларк, который тут же сказал группе, кто я такой. Меня отпустили с улыбочками и рукопожатиями. Я потом долго укорял себя за такой выпад, этого нельзя было делать в таком обществе, где много всяких осведомителей, как наших, так и иностранных. Я ставил многих под удар. Эльза не знала, что я взял с собой слайды, и была ошарашена тем, что я сделал. В конце концов все обошлось, никто не пострадал, а я взял себе за правило прежде хорошо подумать, а потом уже делать. Так-то!

P.S. Я написал портрет Кларка сухой кистью. Как дружественный шарж. И подарил ему на день его рождения. Ему портрет очень понравился, был он жуть как похож. Я потом написал портрет Мери Кларк. Над ним я бился три месяца, никак не давалось мне сделать сходство. Тем более, что писал я этот портрет по памяти. В конце концов получилось, и они были очень довольны.

Когда я был в Рагациемсе, в одном из наездов, я взял с собой работу – несколько небольших холстов, чтобы мне было не скучно одному. Я не торопился, работал с удовольствием. Я вдруг увидел, что перед моим окном – там была площадка, далее был амбар и земляной холодильник – начала собираться группа городских людей. Появилась киноаппаратура, осветительные большие фары, куча проводов. Я спросил хозяйку – что такое, что будут делать? Она сказала, что будут снимать фильм (впоследствии оказалось, что снимали полнометражный многосерийный фильм «Долгая дорога в дюнах»). Это было интересно. Был один актер, с которым я познакомился – Юозас Киселюс. У него была главная роль, и он «проходил» через весь фильм. Когда он в Рагациемсе снимался, он каждый раз потом приходил ко мне. Мы пили кофе и болтали о всякой всячине. Иногда он приводил с собой других актеров. Сам он был молод, но приводил и пожилых актеров, были у меня и народные артисты ЛССР. Хорошо, что я взял с собой фотографии и слайды с моих картин – им было интересно узнать, что я за фрукт.

В книжке, которую сделали Сергей Федоренков и Алексей Цыганов, я в общих чертах описал школу В. Я. Ситникова, и как я вообще пришел в искусство. Издана эта книга была в 2009 году. Сейчас же я собираюсь продолжить это «начало», как бы писать вторую часть, где более подробно описывать свою жизнь. На дворе 2015 год. Первая часть была «выпущена в свет» в 1990 году. Первая часть была написана по просьбе одного журналиста, который работал в издательстве «Мир» и был связан с Португалией, и часто бывал там. Он перевел на португальский язык то, что я написал, и показал в издательстве в Лиссабоне. Там это очень понравилось, и меня просили снабдить текст цветными слайдами, чтобы можно было издать это в журнале. Что я и сделал, но издательство это обанкротилось, главный редактор Антонио Брэм бежал в Парагвай со всей документацией, моими текстами и слайдами. Я махнул рукой на это дело и продолжил заниматься своей живописью.

Какая была самая-самая первая работа, которую я написал после окончания «академии» Ситникова и до написания моего знаменитого «Кретина»? Я позднее

опишу, чем же был знаменит «Кретин». А самой первой работой был «Ленин в бане». Фока (то есть моя мама) устроила мне выволочку, еле сдерживая смех, за эту работу, но похвалила ее за сходство. Ситников же, покатавшись по полу от душившего его хохота, строго-настрого запретил мне замазывать или сжигать свои работы, а привозить их ему. Насчет Ленина было уже поздно, я его сжег на Клязьминском поле, напуганный обещанными мне семью годами Лефортова. Помню, я привез ему только одну картину «Двое за столом сидят». Навсегда она была Сезанном, которым я грезил в то время. Картина же Сезанна – «Двое с трубками за столом». Ситников подправил мою картину, то есть сделал картину «современной», в своем духе бесполох «космонавтов», где фигуры растворяются в пространстве и освященные места появляются вновь (в духе моей картины «Пир Эсфири»). И он продал ее мадам Стивенс, жене американского корреспондента Эдмунда Стивенса. Я, когда был у них в гостях, за чудным стейком паялся на эту работу. Она висела на стене на кухне. Я был молод и глуп, но я был обижен на Ситникова. Ах вот, подумал я, зачем он велел мне привозить мои работы – чтобы подправлять их, а потом продавать их всяким Стивенсам за собственным именем. А во-вторых, я был обижен, и сказал Ситникову, что я думал, что он будет учить меня писать картины «в духе старых мастеров», то есть делать высокий реализм в лучшем его понимании, а он, Ситников, поехал совсем не туда, ставши писать надутые, бесполое фигуры. Ситников посмотрел на меня с жалостью и сказал: «Юлик, Ваш высокий реализм был и прошел. Он, как Вы знаете, осел в музеях мира. Вы должны понять, что если мы станем стараться «переплывать» в технике или композиции Рубенса, например, то мы тут же окажемся в дураках. «Переплывать» кого либо в искусстве невозможно, не может быть двух одинаковых людей, это противно человеческому естеству. Искусство не должно стоять на месте, оно должно развиваться так же, как развивается наука. Впрочем, тут более подобает быть тишине и размышлению...

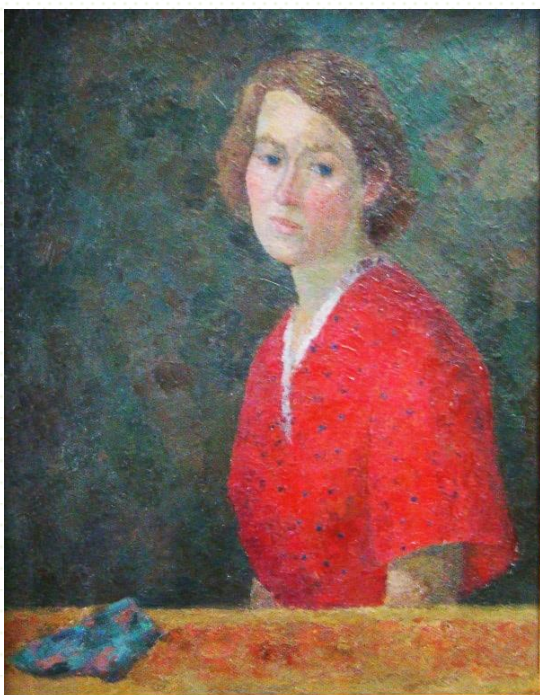
«Кретин! Бедный мой Кретин!»... Я любил его, я понимал его, как понимаешь умалишенного... – это, собственно, тот же надутый, бесполой «космонавт», как мы называли с Ситниковым такие фигуры. Он не раз мне говорил, что «и из ученических вещей можно делать очень хорошие картины, даже шедевры. Так что старайтесь». Я долго смотрел на своего очередного «космонавта». Я не знаю, как это произошло, но рука моя незаметно начала продолжать работу. Я придал нечто человеческое его облику, рисунок сделал получше, его физиономия заимела черты глубокой грусти, он низко опустил голову, кулаками прижимая ее как бы к земле, при этом третий палец одного кулака устремлен куда-то вверх, а большой палец ноги как бы царапает бетонный пол. Я выставил эту работу на какой-то квартирной выставке «шестидесятников». Картина имела бешеный успех, была статья с репродукцией в американском журнале «Искусство в Америке» (почему в Америке, а не в России – мне до сих пор непонятно). Ситников, когда увидел моего «Крестина», только что написанного, заорал, что я второй Лукас Кранах. Я понял, что он этим хотел сказать: у Лукаса Кранаха в картинах огромная мощь, этот тяжеловесный немецкий дух, и Ситников как бы напомнил мне и зрителю о моих немецких корнях¹.

В 1963 году я поступил на работу в Пушкинскую фабрику елочных украшений. Эта маленькая фабрика находилась в Клязьме. Мне надо было для получения маленькой пенсии как инвалиду третьей группы (глухота) отработать два года. Это

¹ Лукас Кранах старший (1472-1553) – крупнейший немецкий художник-реформатор.

было тяжелое, но интересное время. Я познакомился с жизнью простого рабочего. Сам я сбивал каркасы для Дедов Морозов. Несколькоми годами позже это обилие впечатлений вылилось у меня в графику, тончайше исполненную тушью, черным карандашом и пером на бумаге. Я документально изобразил наш цех, где я и десяток женщин производили пятидесятисантиметровые фигуры Дедов Морозов из дерева, технической ваты и цветной гофрированной бумаги. Таких фигур надо было сделать шестьсот штук в день. Набивши руку я выпускал в день шестьсот пятьдесят каркасов. Эта работа была для меня как спорт, мне все время хотелось делать каркасы еще быстрее, чем я делал. Часы висели у меня на гвоздике перед моими глазами на стене. И на один каркас уходило двадцать пять секунд. Быстрее делать не получалось, я начинал от такой скорости бить себе молотком по рукам, то есть по пальцам. Бабы заглядывались на меня, таких быстрых движений им в жизни не приходилось видеть. Я сменил на этом посту горького пьяницу, его в конце концов выгнали взащей. И еще женщины мне подсовывали расписать маски – лица дедов морозов, что я делал с удовольствием. Все физиономии у меня были разные. Я решил втайне сделать из масок все Политбюро ЦК КПСС. Лучшее всех у меня получился Леонид Ильич Брежнев, над ним я особенно постарался. Никто в цеху не заметил моего хулиганства. До живописи было ли бабам – рассматривать маски – им бы свои семьдесят пять рублей в месяц получать. А к седьмому ноябрю бригадирша подсовывала мне написать пятиметровый лозунг, который гласил: «Чистота рабочего места и оборудования – основа производственных успехов!». И я делал – рисовал большие печатные буквы белой краской по красной материи. Признаюсь, я был инициатором этой «чистоты». Когда я заступал на это рабочее место, в этом углу была настоящая помойка. Я выскреб стены, пол и протер окно. Стало чисто и светло, и настроение у всех работниц поднялось. Бригадирша не могла нарадоваться, пронося свое тучное тело мимо меня.

Спустя пятьдесят лет меня одолели ностальгические чувства, и я на большом холсте написал картину «Наши Дедушки Морозы».



Фальк Р.Р. Портрет Марселлы Геккер. 1957 г.
Брянский областной художественный музей.

В 1964 году был снят со своего поста Никита Сергеевич Хрущев. Мне было искренне его жаль. И я был на работе грустный. Кругом меня работницы веселились, плясали и пели непристойные частушки. Я наблюдал. Неразумные бабы! Вот где проявляется их дикость! Работница Аверьянова, жившая в нашем доме, но на другой его стороне, подошла ко мне: «Что не радуешься?». Я ответил: «Жалко старика. Он ничего плохого не сделал ни тебе, ни нашей семье. А только хорошее. Тебе ведь Поссовет увеличил площадь в три раза. Это на тебя пало как манна небесная, а ведь по Хрущевскому приказу это было сделано...»

История освобождения нашего собственного дома от посторонних жильцов такова: моя тетя Марселла Юльевна училась в

Англии в Лондоне и Бирмингеме, бывала и в Оксфорде, в совершенстве знала три языка. По возвращении в Москву преподавала английский язык в институте иностранной литературы, также давала уроки английского в разных интеллигентных семьях Москвы, в частности в Доме Писателей в Лаврушинском переулке. А также преподавала английский внукам Никиты Сергеевича Хрущева на его квартире. С Ниной Петровной, женой Хрущева, Марселла была в самых дружественных отношениях. Так же и с Радой Никитишной, дочерью их, и ее мужем Аджубеем, главным редактором газеты «Известия». Иногда происходили встречи всех членов этой семьи, на которых Марселла присутствовала. Все с интересом слушали, какие успехи сделали оба внука Никиты Сергеевича. Как-то Марселла разговорилась с Хрущевым. Она рассказала ему всю историю нашей семьи со всеми ужасами сталинских репрессий и попросила его помочь освободить низ дома, в котором жили четыре посторонних семьи. Через несколько дней в Клязьминском поссовете раздался телефонный звонок. И вскорости низ дома был освобожден.

Как-то, году в восьмидесятом, бывши в Москве без дела, а только для наблюдения и изучения людей и строений, я забрел к Стивенсам. Они тогда жили еще в старом доме у Павелецкого вокзала. Особняк на улице Рылеева, 11 они купили позже, в семидесятых годах. У Стивенсов сидел господин, и что-то смутно знакомое было в его облике. Я спросил его, чем он занимается, и он ответил, что он музыкант. Потом уже я все вспомнил. В 1955 году вся наша семья поехала встречать Новый Год к Святославу Рихтеру. Он тогда только что получил новую квартиру на улице Алабяна. Квартиру же в центре ему дали сразу же после получения им Ленинской премии. Было много народу, музыкантов, актеров театров и просто друзей детства и юности. Этими друзьями своей молодости он очень дорожил, никогда не забывал их. Был там один-единственный «нужный» человек, по фамилии Холодилин – член ЦК КПСС, который дал ему «Зеленый свет» на гастроли по миру. Был и этот господин, которого я встретил у Стивенсов, спустя столько лет. Им оказался Ростислав Дубинский, будущий великий руководитель и первая скрипка квартета им. Бородина.

Дубинский с супругой Любой бывали у нас на Клязьме, им нравилась деревенская, загородная жизнь, особенно летом. Они задыхались в центре Москвы, где жили у метро Маяковская. Я уже стал взрослым художником, они доверяли моему художественному вкусу и чутью, и картины мои им безумно нравились. Они музицировали с моим отцом и иногда давали концерты вместе (квintет) в Малом зале консерватории. В первой книге моих записок я подробно описал, как Дубинский в один прекрасный день дал мне заказ – написать его квартет на большом холсте. Я с восторгом принял это предложение. Это было нечто совершенно новое для меня. Когда я через полгода, закончив работу, открыл ее для обозрения, Дубинский с гостями пришли в восхищение. И он после этого заказывал мне картины неоднократно, вплоть до своей эмиграции в Нидерланды и потом в Америку навсегда.

Когда мы с Алешей, моим двоюродным братом (сыном Марселлы) были еще школьниками, мы вместе с нашими мамами уезжали летом месяца на два на Рижское взморье в Латвию, в деревню Рагациемс, что в пятидесяти километрах от Риги. Там

было очень хорошо, немногочисленные жители деревни, в основном рыбаки с семьями, не знали русского языка и говорили только по-немецки и по-латышски. К счастью, немецкий язык был вторым родным языком у наших мам. Так что у местного населения было с нами полное взаимопонимание и симпатия. Мы с Алешей иногда присоединялись к рыбакам, к их артели, и в четыре часа утра уезжали на их баркасах на рыбную ловлю. Это был праздник, когда после приплытия мы разгружали баркас, а потом коптили рыбу – салаку и длинных угрей. Нежная дымка стояла над деревней, и был совершенно одуряющий запах тлеющих углей вперемешку с коптящейся рыбой. Потрясающе вкусно было эти яства запивать «алусом»². Было легкое опьянение, но это было чудесно. Как-то мы вчетвером пришли с моря, а домик наш «Зарини» был в двух шагах от воды. Нас встречает взволнованная соседка и говорит, что нас ожидает какой-то господин. Им оказался Слава Рихтер. У него был концерт в Риге и концерт в Дзинтари. Фока раньше рассказывала ему про Рагациемс, и что мы туда собираемся. Так что все было хорошо.

Слава обожал ходить. Например, он пешком пришел из Дзинтари в Рагациемс – 25 километров. Ему однажды пришла в голову шальная идея совершить пеший поход из Александрова в Переславль-Залесский – 50 километров. В городке Александрове, что располагается на 101-м километре от Москвы, жила в то время моя бабушка по отцовской линии, Наталия Прокофьевна Ведерникова. Ей уже был открыт путь в Москву, судимость была снята, она была реабилитирована. Но ей больше нравилась тихая жизнь в маленьком своем домике в Александрове, она работала в аптеке. И мы приехали к ней на электричке на пути в Александров. Мы переночевали у нее и на следующий день рано утром двинулись в поход. Фока немного боялась за меня, я ведь был еще маленьким, но держался я молодцом. Нам надо было одну ночь переночевать под открытым небом, и мы выбрали для этой цели большое скошенное поле, где было много больших стогов сухого чистого сена, которое одуряюще пахло. Чудно было ночью смотреть на черное, усыпанное звездами небо. Утром мы после завтрака отправились дальше. Мы вдруг увидели странный, барачного типа дом; он был окружен высоким забором, кое-где с колючей проволокой. Около дома гуляли такие же странные люди в серовато-белых пижамах, некоторые в халатах такого же цвета. Как потом выяснилось, это был дом для умалишенных, а люди были, образно говоря, сумасшедшими. Оно и было видно по их лицам и походке, кое-кто даже шел пританцовывая. Я внимательно их рассматривал. Обрато мы поехали электричкой прямо в Клязьму, а Рихтер поехал дальше в Москву, где ждала его разъяренная Нина Львовна³ и обычная свита обеспокоенных почитателей. Слава никому не сказал, куда и на какое время он «удрал». Такое бывало довольно часто, и конечной целью (побегов) был наш дом в Клязьме, где Слава прятался от назойливой жены и многочисленной «свиты».

Впечатление от путешествия в Переславль-Залесский подвигло меня сделать несколько рисунков и раскрасить их акварельными красками. Поле со стогами сена при заходе солнца. Кажется, я рисовал еще какую-то водную гладь какого-то озера, не припомню. Я тогда и думать не думал, что свяжу свою жизнь с кистями, красками,

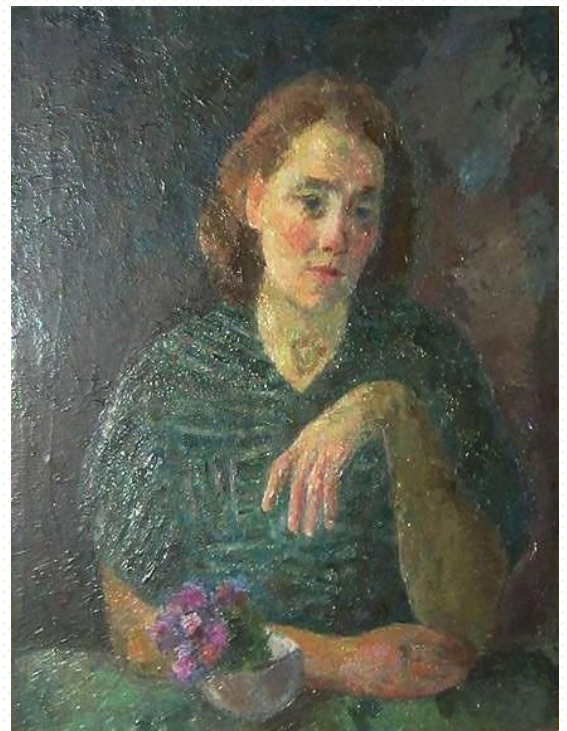
² Алус – пиво местного разлива.

³ Нина Львовна Дорлиак, жена.

растворителями и холстами на подрамниках. Иногда мои мамы (Марселла и Фока) намекали мне – мол, рисовал бы ты, Юшенька, вон, какое лицо у тебя получилось, сфантазированное, все кривое, но видно, что так надо было это лицо нарисовать. Очень выразительная физиономия. Я на это ничего не отвечал, но какое-то беспокойство было. Я внутренне отмахивался от этой «профессии». Зачем, думал я, мне какие-то проблемы. Шло время, я закончил общеобразовательную школу, и тут, копаясь в отцовской библиотеке, мне подвернулась «История импрессионизма» А.Воллара, кубистический портрет которого, сделанный Пабло Пикассо, висит в музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Далее я описал все в первой своей книжке.

Почему Фока называется Фокой, а Марселла у нас с Алешей одинаково называлась мамой? Этот вопрос многих гостей наших интересовал, и мы каждый раз должны были объяснять. Дело в том, что все тети и бабушка по материнской линии, как полагается на Западе по протестантскому и католическому вероисповеданию, имели двойное имя. Бабушка была Элизабет-Шарлоттой, Алиса – Гортензией, Марселла – Луизой, а Фока была Ольга-Софья. Слава Рихтер, по приезду своему из Одессы, не имея крыши над головой, какое-то время жил у Генриха Нейгауза, а потом на несколько лет обосновался у нас на Клязьме, благо в доме было два рояля и можно было заниматься на любом. Славе очень не нравилось имя Ольга, он просто не выносил его и называл Фоку Софочкой. Когда мне было два-три года, я никак не мог, подражая Славе, выговорить это имя отчетливо, и получалось у меня смазанное Фокочка или Фока. Слава прислушался как я говорю и тоже стал называть Фоку – Фокой, так и закрепилось за ней это имя. А Марселла так и осталась мамой на всю жизнь. Заходит ли между нами о ней речь, вспоминаем ли мы ее – МАМА!

В 1960 году мы, то есть я с Марселлой, решили недели на две съездить в Рагациемс. Алеша был с экспедицией на Кавказе, он решил стать геологом и живо интересовался камнями. Экспедиция эта была от геологического факультета МГУ им. Ломоносова, где преподавал этот предмет бывший ученик Марселлы по английскому языку профессор Устиев. Он взял Алешу под свое покровительство. Фока же решила не бросать своего супруга одного, а быть в то лето около него. Мы с Марселлой гуляли вдоль берега, наблюдали за работой моряков на маяке. И занимались усиленно английским языком. С четырех лет я у Марселлы в учениках. На время моей болезни менингитом был перерыв один месяц. За это время меня усиленно учили понимать речь по губам. Не только русскую, но и английскую речь. Это был беспрецедентный опыт, который увенчался полным



Фальк Р.Р. Портрет Марселлы Геккер. 1957 г.
Николаевский областной художественный музей
им. В.В.Верещагина (Украина).

успехом. Марселла разговаривала со мной по-английски, правда, с очень отчетливой дикцией, и я понимал ее, и я отвечал тоже по-английски, тщательно произнося слова. В последнее время пребывания в Рагациемсе я часто заставлял Марселлу в глубокой задумчивости и часто что-то пишущей. Потом я понял, что:

Лиловые тучи да море бьёт,
На водорослей кучи дождик льёт...
Бегу, спеша на море и на мель,
Буря, о горе, бери водоросель...
Напрасно веснушки растирай, –
Не то в Рагациемсе пропадай.

У Марселлы было такое настроение, и она начала писать стихами. Стихи выходили у нее какого-то упадническо-кубистического толка, но мне это очень нравилось, у меня ведь почти такое же настроение было.

Я подрастал, закончил общеобразовательную школу, и неотвратимо вставал вопрос: дальше что? Абеляр Воллар помог и тут – надо быть художником, иного пути у меня нет. Начались мои поездки в Москву ко всяким «репетиторам». Я отметал всех. Дальше я отсылаю всех любопытствующих к моей книге, где подробно все описано.

С 1967 по 1977 годы я усиленно занимался живописью и графикой, учась писать картины разноплановые. Я ведь не знал ничего, и мне надо было во что бы то ни стало найти себя, свой стиль, свое направление, свою технику, или, в конце концов, разработку какой-нибудь идеи. У моего отца была прекрасная библиотека, было много книг по искусству, текстовых и в репродукциях. Я копался в этой библиотеке до одурения, зато стал более образован и мог с отцом на равных говорить об искусстве и художниках разных эпох.

В 1-й книжке моих записок я подробно описал, как в 1967 году ко мне в мастерскую нагрянула Нина Куликовская со своим другом из Германии – Андреасом Бодом. Их единственная цель и просьба – чтобы я написал портрет Нины. Друг ее, немец, симпатичный парень из Мюнхена, учится у нас в МГУ на искусствоведа и историка. Прекрасно говорит по-русски, стал вздохом рассказывать, в каком он восторге от «Гавриилиады по Пушкину», и как он счастлив, что я согласился продать ее ему. Я согласился написать портрет Нины. Так как у нее цвет волос светло-пепельный, мне нужен будет халат с атласно-черным воротником. Они сказали, что все это будет в самое ближайшее время. Я написал портрет за месяц. Они были восхищены, и Андреас попросил второй. Я был недоволен, но согласился, сказав, что теперь мне нужен будет пеньюар в кружевах, нежнейше-розовых. Они ответили, что и это будет. Портрет я написал, они были очень удовлетворены. Но на прощание я сказал Андреасу, что мне бы очень хотелось показать эти два портрета знатокам-экспертам. Я сказал ему, что в цене мы с ним уже договорились, и чтобы он не думал,

что я хочу поднять цену. Мы договорились о встрече в Москве с картинами, которые он привезет. У меня возникла шальная мысль показать эти два портрета в Третьяковке. Я, моя жена Эльза и мой закадычный друг Олег Каплин повезли эти картины в Третьяковку, где они очень понравились экспертам, которые, тем не менее, сказали, что картины с улицы они не покупают и послали нас в МОСХ, в молодежное объединение к некоему Олегу Николаевичу. Где меня сразу приняли в это объединение. С небес да на землю! Как я был наивен, а я уж думал черт знает что, что я не бог весть какой великий, что Третьяковка купит у меня эти портреты. Молодежное объединение – это детский сад на пути в такую грозную организацию как МОСХ. В молодежное объединение принимались уже окончившие художественный институт, имеющие направление и прочее, и прочее. Единственная отрада для меня была, что меня с улицы взяли без всяких дипломов и рекомендаций, что маститые художники похвалили меня и сказали, что я пойду далеко. В Молодежном объединении я пробыл три года, все время выставляясь и получая похвалы от руководства. Наконец таинственный Олег Николаевич – вылитый Стасов из-за своей густой бороды и большого пуза – сказал мне, чтобы я готовился, что меня будут принимать в МОСХ. А я особо не готовился, у меня были готовы пять фундаментальных график, куча однофигурных фрагментов, все это было окантовано в рамки по высшему разряду, и несколько жанровых картин маслом. Я не знал, когда будет прием, заскучал и в то лето улетел в Рагациемс. Я уже не мог без моря, без запаха мазута, без рыбаков, без рыбы копченой. Как сейчас помню, однажды жарким июньским днем я пришел с рыбной ловли утром – мы тянули сети ночью, стеклянные шары – поплавки блестели, рыба блестела и трепыхалась в сетях. Пришел, сделал себе крепкого чаю и лег спать. Я, наверное, проспал целый час или два, как чувствую, что кто-то тянет мое одеяло, собираясь меня будить. Я живо проснулся и увидел, что моя хозяйка Мауретей Зелма протягивает мне телеграмму. И притом с пометкой «срочная». Писала Эльза из Клязьмы, чтобы я срочно летел домой, что в четыре часа дня будет прием. Было одиннадцать часов утра. Быстро одевшись, нацепив галстук для апломба, я побежал на автобусную остановку. Автобус был тут же, он был Рижский, и за полчаса довез меня до Дзинтари, где стоял уже автобус на аэропорт Румбула. Влетев в зал, я бросился в кассу, тут же взял билет и бегом на летное поле, где «под парами» уже стоял самолет. Через два часа я был в Москве. Фантастика! Было такое ощущение, что все специально подстроено, что я не потерял ни часа, ни минуты. На такси прикатил в Клязьму, мы с Эльзой погрузили картины и обратно в Москву, где я в четыре часа стоял перед комиссией художников и чиновников от Минкульта. Сзади меня на стене были развешаны мои художества. Люди, сидевшие за столом, встали и стали рассматривать мою графику. Она особенно их привлекала. Иногда кое-кто смеялся, переговариваясь с соседом. Минут через сорок пять все кончилось. Я был принят в Союз художников в секцию графики. Подскочил Олег Николаевич, долго тряс мне руку, сказав, что попасть к графикам очень почетно – оценили, значит, мой юмор, начитанность и умение рисовать четко и чисто. Очень, конечно, помогла рекомендация в МОСХ от троих художников – графиков Виктора Пивоварова и Юрия Перевезенцева и художника Кочейшвили. Наша знакомая из Пушкино как-то привезла эту троицу к нам в Клязьму. Они совершенно обалдели от моих графических набросков и фундаментальной моей графики. Пивоваров тут же написал рекомендацию в МОСХ в секцию графики и дал расписаться остальным.

На следующий день я приехал обратно в Рагациемс. На столе у меня стоял чай, который я заварил позавчера. Кисти, к счастью, не высохли, и я мог продолжать работать, попивать свой чай и ходить с рыбаками в море.

Вступление в МОСХ не было для меня самоцелью. Я просто устал от беготни в поисках покупателя, которым оказывался, как ни странно, всегда иностранец от какого-нибудь посольства. Видимо известность моя росла, и один передавал другому о моем существовании. Для меня одно неприятно было, что идя на «парти» или на прием дипломатический, попадать каждый раз под колючий, пытливый, изучающий взгляд милиционера или «человека в штатском». В это мгновение перед моими глазами всегда вставал допрос в спецкомнате, и душа моя уходила в пятки. Интуитивно я всегда спешил перешагнуть черту, которая разделяла принадлежность территории иностранному государству. Переступив, я был спокоен я был на территории чужого государства и мог оттуда показать язык милиционеру, чего я, конечно, никогда не делал.

Был такой случай, когда к нам в Клязьму приехал в гости американский корреспондент Питер Ханн с супругой Кристел. Мы с Эльзой решили принять их на Грибоедовской, а потом уже ехать к нам на Боткинскую. Марселла соскучилась по английской речи, да и узнать мы могли гораздо больше, и разговор был живее и непринужденнее с помощью Марселлы. Питер Ханн вообще был господин хулиганистый, он мог, например, без разрешения МИДа слетать в Казахстан, где у него были «делишки». Вернувшись через день он спокойно отвечал, где он был и что делал. Врать умел очень хорошо. Милиция очень хотела его поймать, случай ей представился, они засекли его в Клязьме, куда ездить иностранцы могли, только имея пропуск. Мы же на Грибоедовской приняли его, Ханна, весьма радушно. Принимали на втором этаже. Вдруг внизу слышим шум – это пришла милиция. Ханн спустился вниз – милиция тщательно просмотрела его документы и в вежливой форме попросила покинуть запретную зону, куда входила Клязьма. Мы с Эльзой окольными путями пришли к себе через чужие огороды, ныряя в калиточки, которые знали только мы. Милицию мы оставили с носом, хотя она дожидалась нас на каждом углу, чтобы учинить нам допрос с непременным «где вы с ним познакомились?»...

Став полноправным членом СХ СССР, имея на руках заветную бордовую книжицу, я мог выставляться где пожелаю, продавать свои картины где и кому пожелаю, участвовать в любых кружках и объединениях. Я же для себя выбрал наиболее тихую и спокойную гавань. Ни с кем из художников не знакомясь, я тихо относил картины в художественный салон на улице Петровка, 12. Посольские, конечно, пронюхали, где я прячусь, и моих картин на следующий день после развески уже не было. Они покупали у этого магазина все, что я приносил. Когда развалился Союз ССР, и у нас стал «дикий капитализм», этот художественный салон стал доступен только «своим» художникам. Я перестал туда ходить. Одно время пушкинская галерея «Арт-Ликор» Алексея Иванова устраивала выставки художников и продавала их работы.

Будучи уже «членом» мне захотелось как-то испытать себя на уровне официального искусства, то есть попытаться выставиться от союза художников. Как раз к тому времени готовилась к открытию осенняя выставка московских художников на улице Кузнецкий Мост, 20. Собравшись с духом я повез туда свой большой «Строительный участок», картину неоднозначную, с подвохом и смешком. Но шел уже 1986 год – второй год горбачевской перестройки. Появление такой

картины вызвало переполох, официалы переглядывались, не зная, как отнестись к такому чуду. Но настроение у меня было приподнятым, я знал, что закон на моей стороне – гласность, открытость, безбоязненность сказать свое слово. Придя, я поставил картину у свободной стены, громко провозгласил: «Вешаем!» и победоносным взглядом окинул присутствующих. Как я был наивен! Ко мне подошел какой-то член партии с лицом как кусок хозяйственного мыла, и, лукаво улыбаясь, сказал: «Завтра повесим, Вы картину здесь оставьте, придет партийная комиссия и скажет свое последнее слово, а без этого мы не можем». Подошел другой тип и сказал: «Вы не шумите, хуже будет, вы лучше ступайте домой, а завтра с утра поговорим». Наутро я приехал на Кузнецкий Мост с твердым намерением, если картину не повесили, забрать ее домой. К ужасу своему я обнаружил, что картины там нет. Никто не желал со мной разговаривать, а тем более сказать, где картина. Наконец одна женщина, по виду уборщица, сказала мне, что она слышала, будто картину, о которой я говорю, вместе с еще несколькими, увезли в другой выставочный зал. Я бросился туда, но там мне сказали, что картину недавно повезли в запасник МОСХа в Старосадском переулке, 5. В бешенстве я поехал на Маросейку, оттуда повернул на Старосадский и «влетел» в кладовку. Я бушевал! Там были две девушки, которые, сидя на корточках, рассматривали мою работу. Они подскочили от неожиданности. Я без слов предъявил документы – паспорт и билет МОСХа. Сказал, что забираю картину. Я расписался в какой-то тетрадке, упаковал работу и вынес на улицу. Я довольно долго ловил пустопорожний грузовик, наконец, поймал. Пришлось выложить довольно круглую сумму. Приехали на Клязьму. Все! Вот во что обернулось желание послужить своему народу в деле его просвещения. Был еще один случай спустя два года. Грешен! Я оказался достойным внуком своего деда – просветителя Ю.Ф. Геккера, с которым власть нещадно расправилась. Тогда я обнаружил свою графику «У палатки на Клязьме» валяющейся на полу запасника, неокантованную, хотя я принес ее окантованную и под стеклом, и в раме. Кто-то наступил на графику, оставив на ней жирный земляной след (я потом потратил два дня, чтобы привести ее в чистый божеский вид). Я заявил в запаснике, что ноги моей больше у них не будет! Усмехнулись. И уткнулись, крысы, в свои бумаги. Я вылетел вон.

Совершенно не помню, кто познакомил нас с Эльзой с Гусевым Александром Ивановичем, председателем правления Советского Фонда Культуры, и Радимцевым А.Д., директором выставок и аукционов Советского Фонда Культуры. Шел 1989-й год. Они предлагают мне выставку и в последний день провести аукцион из работ, которые я сам выберу для этой цели. Выставку и аукцион намечено провести в принадлежащей фонду церкви св. Власия, улица Рылеева⁴, 20, с 18 апреля по 28 апреля 1989 года. В здании церкви оркестр русских народных инструментов «Боян»⁵ проводит свои репетиции. Выставка открылась шумно, было много людей и цветов (зачем-то!). Я почти что каждый день ездил туда, как бы «представительствовать». Но мне просто была интересна реакция незнакомых людей на мои картины. Наконец настал последний день выставки и проведение аукциона. В публике я увидел мать и дочь Брандштеттер из Германии. Они много картин моих накупили в салоне и теперь захотелось им еще парочку картин взять на этом аукционе. Я выставил на продажу две работы – «Зимой на Клязьме» и «Снежный завал». Мать и дочь из

⁴ Ныне Гагаринский переулок.

⁵ Ныне государственный академический русский концертный оркестр «Боян».

Германии думали, что они наверняка возьмут эти работы, но не тут-то было – объявился какой-то молодой человек, который и «переплевал» все цены, и картины оказались его. Брандштеттеры огорченные удалились ни с чем. Я подошел к молодому человеку и поздравил его с приобретением. Он представился – Борис Ренский, предприниматель. Он сказал, что на телеграфном столбе рядом с церковью увидел небольшой лист бумаги, и написана была моя фамилия и место проведения выставки. Ренскому очень нравились мои картины и, будучи еще студентом медицинского института, он часто бегал на Петровку, 12, посмотреть, что новенького я привез. Он был совсем небогатым студентом и поэтому не мог позволить себе что-то купить, а только мог «облизываться», как он выразился. Но теперь час его настал, он, окончив институт, забросил медицину и занялся куплей и продажей компьютеров. Фирма его росла как на дрожжах, он заимел филиал в Сингапуре с товарным знаком «R&K». На больших коробках, куда упаковывались компьютеры, было клеймо «R&K», компьютеры продавались во множестве по всей России.

Кстати, дед Бориса – тоже Борис Ренский – был прославленным дирижером эстрадного оркестра. Когда я был маленьким, у входа на стадион «Динамо» я видел огромный плакат: «Выступление эстрадного оркестра под управлением Бориса Ренского». Народ валил толпами. Мог ли я себе тогда представить, что мои картины будут собственностью внука этого дирижера!?



Ведерников Ю.А. Три приятельницы за столом. 1977 г.

Месяца через два Борис вдруг приехал к нам на Клязьму и сказал, что хотел бы купить еще картин. Я отдал ему «Трех женщин у стола». Договорились, что он со временем возьмет у меня все, чем я располагаю. Так и получилось. Он уже стал строить планы, какой музей моего имени он организует в Москве. Но уже тогда я почувствовал, что все эти планы с музеем и изданием альбома – пустой звук. Как-то я приехал к нему на фирму, что на Большой Якиманке, по его приглашению. У него сидел какой-то благообразный господин. Они что-то обсуждали. В скором времени человек ушел. Борис сказал, что он купил виллу в Калифорнии (США), что там есть зимний сад, длиной 40 метров, шириной 6 метров и высотой 4 метра. Он хочет, чтобы я сделал триптих на боковую стену, и чтобы этот триптих закрыл бы собой эту стену почти полностью. Я записал размеры, сказал, что буду заказывать подрамники и примусь за работу тут

же. Потом он сказал, что на длинную стену он хотел бы, чтобы я написал восемь огромных картин, чтобы можно было бы повесить все восемь картин в ряд. Но что размеры их не одинаковы по ширине, что размеры он потом мне скажет. Заказ был

огромный. Без усталости я работал 12 лет и сделал все к несказанному его удовлетворению. Правда, с последней картиной вышла осечка, ему не очень понравилась композиция. Он попросил меня написать еще одну такого же размера картину. В 2011 году с января месяца упорно шли слухи, что согласно предсказанию Нострадамуса Москва разрушится. Мы с Борисом обсудили, и он предложил мне написать разрушенную Москву и людей, мятущихся в ужасе и панике. В 2012 году картина была окончена. Мы никак не могли договориться в цене. Я нашел, что он предложил цену оскорбительно низкую. И настаивал на своей цене. В конце концов он сказал, что картину он не возьмет, чтоб я оставлял ее себе, хотя она ему необычайно нравится, что он увозит первый вариант в Америку. Что он согласен, чтобы я устраивал выставку из тех картин, которые хранятся у него, которые есть у Михаила Ефимовича Короба⁶, у меня и еще кое у кого. Выставка в Центральном доме художника получилась большая, представительная и показывающая меня полностью. Это было в 2013 году.

Я как-то подзабыл написать, что в 1975 году я женился на Эльзе Модестовне. И вот уже 41-й год мы вместе. Я оказался примерным и постоянным супругом. Эльза для меня все. Я не знаю, что было бы, если бы я не встретил такого друга. А познакомил нас мой приятель Олег Каплин, а с Каплиным я познакомился у Ситникова. К сожалению, Олег Каплин ушел из этой жизни полтора года⁷ тому назад. Он был очень хорошим человеком и для меня прекрасным товарищем. Он был фотографом, немножко поучился у Ситникова, но терпения у него было «на доньшке». Просто это занятие было не для него, ему больше нравился мгновенный конечный результат, а это могла дать только фотография. От первого брака у Эльзы росла дочка Юля. Мы поехали в Эстонию, в Пярну, вместе, это было как наше с Эльзой свадебное путешествие. В Пярну отдыхала семья Лубоцких. Марк Лубоцкий все время занимался, он играл на скрипке часов по шесть в день, готовил новую программу к следующему сезону. Лубоцкий познакомил нас с гроссмейстером Марком Таймановым, профессиональным музыкантом и таким же профессиональным шахматистом. Мы как-то пошли на концерт эстонского симфонического оркестра. За дирижерским пультом стоял известный дирижер Неэми Ярви. Во время одной «бурной» части Ярви зацепился палочкой за пульт, и эта палочка полетела напрямиком на колени Эльзе – мы сидели во втором или третьем ряду в середине. После концерта мы пошли за кулисы, чтобы вернуть палочку владельцу. Эльза сказала, что я сын пианиста Ведерникова, на что Ярви ответил, что он его хорошо знает, а насчет палочки сказал, что сломанные палочки не возвращаются владельцу. На этой палочке он оставил свой автограф в виде каллиграфической подписи.

Когда у моего отца не было гастролей и он чаще бывал дома на Клязьме, в перерывах между занятиями я играл с ним в шахматы. Мы тщательно вели учет выигрышей и проигрышей. Когда он выигрывал у меня, то каждый раз спрашивал: «Ты испытываешь горечь поражения?», и мы похохатывали. Когда я выигрывал у него, я с комично-виноватым видом спрашивал у него то же самое, и мы смеялись уже пуще прежнего. Счет мы вели годами, это было интересно и в шутку поучительно для нас. А так, бывши на Клязьме, помимо фортепианной работы, он

⁶ М.Е. Короб – компаньон Ренского и его «ученик в финансах» (выражение автора).

⁷ Олег Владимирович Каплин (8 июля 1940 г. – 18 августа 2013 г.) – фотограф.

занимался с Марселлой английским и французским языками. Ему также нравилось после обеда мыть посуду (!). Фока исподтишка помогала ему в этом, боясь, как бы он не испортил себе руки.

В 2004 году мой приятель Олег Каплин как-то привез к нам на Клязьму своего знакомого Михаила Михайловича Алшибая. Он оказался довольно крупным коллекционером картин, написал даже объемистую монографию о современном искусстве и о художниках «шестидесятниках». По профессии же Алшибая был хирургом, профессором научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Мы хорошо провели время, приобретя такого интересного собеседника, специалиста по искусству и живописи.

Это знакомство оказалось знаковым. Год спустя я вдруг почувствовал себя нехорошо, «будто кошки скребут за грудиной». Мы с Эльзой поехали в поликлинику, оттуда нас в срочном порядке направили в Пушкинскую больницу. Мне поставили диагноз – инфаркт. В Пушкинской больнице меня положили в общую палату и практически ничего не делали. Эльза срочно позвонила профессору института им. Склифосовского Соколову Владимиру Анатольевичу. Он связался с директором института Ермоловым Александром Сергеевичем, и на следующий день в Пушкинскую больницу прибыл из института им. Склифосовского реанимобиль с врачами, и меня увезли в институт в реанимацию, из которой через три дня я был переведен в роскошную палату⁸. Между прочим, Ермолов является прямым потомком генерала Ермолова – героя Отечественной войны 1812 года. Я пролечился в институте Склифосовского 21 день. Выписывая меня, врачи настоятельно рекомендовали мне не позднее, чем через три месяца, сделать операцию на сердце. Вот тут-то и пригодился нам «интересный собеседник, специалист по искусству»... Эльза позвонила профессору Алшибая М.М. и рассказала о рекомендации врачей. Михаил Михайлович сказал, что не надо волноваться, что он таких операций сделал штук 400, что все будет хорошо, «везите его ко мне на операцию» в Бакулевский центр, где за мной будет хороший уход, одноместная палата рядом с его кабинетом. 14 августа меня оперировали. Операция длилась шесть часов. Как видите, я остался жив.

В наших двух домах – на Грибоедовской и на Боткинской – много гостей перебивало. Периодически приезжали друзья моего отца – музыканты: Олег Каган, скрипач, Наташа Гутман, супруга его, виолончелистка. Иногда останавливались у нас, занимались втроем много (трио), а потом концерт в Москве давали и за рубежом тоже. Рихтер Слава, но я о нем не пишу, свой человек!

⁸ С профессором Соколовым В.А. наша семья знакома давно. Как-то Соколов был в командировке в одной из скандинавских стран вместе с директором института Ермоловым А.С. В свободное время они ходили по музеям, обсуждали работы, которые видели. В одном из разговоров Ермолов упомянул о художнике Ведерникове, картины которого видел у кого-то, и что он хотел бы его найти и посмотреть, что у него есть еще. Соколов удивился и сказал, что Ведерниковы – его знакомые, и он обязательно отвезет Ермолова к этому художнику. Они приехали к нам на Клязьму, и Ермолов купил две картины 65х50 см. Вместе с супругой они побывали у нас в гостях, и Соколовы тоже были. Это было как раз после моей большой выставки в Ивантеевке. Александр Сергеевич сказал, что гоняет из Москвы в Ивантеевку почти что ежедневно, так ему нравятся мои картины.

Третьего мая, когда у отца был день рождения, приезжали его ученики и ученицы; отец ведь преподавал в консерватории помимо своей концертной деятельности. Наезжали старые друзья отца – Нейгауз (пока был жив), дирижер Олег Михайлович Агарков, театральная семья Степан и Прасковья Рыбниковы, не могу всех упомянуть. Отец, вообще-то говоря, не любил московских художников, они казались ему какими-то ограниченными, неинтеллигентными, однобокими, в музыке не разбирались вовсе. Я перенял от моего отца эту нелюбовь, некоторый снобизм даже. Да и вообще меня всегда больше тянуло к музыке и музыкантам. В их обществе мне делалось как-то тепло и покойно. Бывали еще Дубинские, Лубоцкие (скрипачи), бывал поляк Ержи Кухарский с супругой, оппозиционер до мозга костей, спорщик, курильщик, любитель водки, небольшую рюмку всегда засовывал себе в рот целиком (любил так шутить).

Когда Питер Ханн еще работал в Москве, он раз в месяц приглашал к себе общество – парочку послов (французского и американского) и несколько атташе по культуре. Было несколько чопорно, но после хорошего стакана виски или джина с тоником скованность уходила сама собой и делалось легко и свободно. Всем хотелось посмотреть мои картины. Договорились мы, что двенадцать картин небольшого размера мы перебросим к Питеру своими силами в большом «Форде» Ханна. Вечером, когда стало темно, его машина подъехала к подъезду жилого дома, где находилось молодежное объединение художников Москвы. Мы быстро перетащили картины в машину и поехали на Кутузовский проспект. Напротив гостиницы «Украина», на другой стороне проспекта, находился дом дипломатического корпуса. Мы въехали во двор и мимо милиционера углубились к подъездам. Около одного входа остановились. Ханн сказал, что подождет более позднего времени, когда милиционер уйдет со своего дежурства, и потом перенесет все картины вверх. Ханн проводил нас мимо милиционера к остановке троллейбуса и там мы расстались, договорившись, когда будет открытие выставки. Выставка прошла хорошо, было много иностранцев. Американский посол Вильсон купил три работы, и за один вечер все картины были проданы разным людям из разных стран. Ханна хорошо напился белым мартини. Мы пили мало, нам предстояло идти самим мимо милиционера и выйти на проспект.



Ведерников Ю.А. Три приятельницы. 1982 г.

Сейчас все кончилось. Мы не ходим больше в дипкорпус. Мы уже не молодые и не такие прыткие. Хотя я думаю устроить со временем выставку на Тверской улице, там есть одна галерея, которую можно было бы использовать. Можно вообще повторить и прорваться на Петровку, 12. Все-таки жизнь у нас еще не кончена и можно много дел еще проверить.

Какие у меня были выставки:

- 1) 1969, Москва, Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова – персональная выставка;
- 2) 1970, Пушкино, Московская область – персональная выставка;
- 3) 1970, Черноголовка, Московская область – персональная выставка;
- 4) 1972, Дубна, Дом ученых ОИЯИ – персональная выставка;
- 5) 1975, Москва – квартирная выставка у И.Киблицкого;
- 6) 1976, Москва – квартирная выставка «шестидесятников» у В.Сычева;
- 7) 1980, Москва – вступление в члены СХ СССР;
- 8) 1989, Москва – Церковь св. Власия, 18.IV–28.IV, знакомство с Борисом Ренским в церкви;
- 9) 1993, Москва, Манеж, АРТ-МИФ, 20.X–28.X;
- 10) 1998, Ивантеевка, Московская обл., октябрь;
- 11) 2011, Пушкино, Арт-Ликор, галерея Иванова, февраль-март;
- 12) 2012, Москва, ЦДХ на Крымском Валу, май-июнь – персональная выставка;
- 13) 2013, Пушкино, Арт-Ликор, галерея Иванова, декабрь.

Примечание: Рукопись «Эпизодов» для копирования взял «друг» - А. Цыганов и не вернул семье.